



НАТАЛЬЯ РОСИНА

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

16+

Наталья Росина
Неблагонадежный человек

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Росина Н.

Неблагонадежный человек / Н. Росина — «ЛитРес: Самиздат»,
2019

Послевоенные пятидесятые годы. В атмосфере растущего антисемитизма страну захлестнула очередная идеологическая компания, грозящая глобальной чисткой еврейского населения. Коснулась она и ученого сословия. Из образовательных учреждений потоком пошли «сигналы» о засилье космополитов на всех уровнях системы просвещения...

Для оформления обложки использовано фото, сделанное мною лично! На сайтах в интернете данное фото мною не размещалось!

Подвода лениво тащится по разбитой проселочной дороге, тарыхтя и подскакивая на ухабах. Сидящий в ней шуплый человек средних лет уныло глядит на опустевшие скошенные поля, крепко прижимая к груди старенький потертый портфель. Кругом одна пахота да пустота, лишь изредка попадаются жидкие перелески, с наполовину пожелтевшими деревьями. По выжженной солнцем степи гуляет уже осенний ветерок. Тоскливо шелестит сухая ломкая трава у обочины, да раз-другой вскрикивает степная птица. Седок с головой кутается в клетчатый плед. Выглядит он человеком надломленным и потеряннным. На каждой ухабине его и без того страдальческое лицо корчится в мученьях.

Возчик нетерпеливо дергает вожжи, понукая уставшую лошадь: «Ну-ка, родимая, пшшла!». Кобыла, ощерив желтые зубы, лениво взмахивает облепленным репьями хвостом, но шагу не прибавляет.

– Таким Макаром и до вечера не доберемся, – сплевывает в сердцах возчик. Зовут его Федором. Мужик он крепкий, плечистый. В тесном, не по размеру, выцветшем пиджаке и засаленной фуражке. Федору томительно волочиться двадцать верст по развезженной дороге, да еще и со скучным попутчиком.

– Эх, на Орлике бы с ветерком тебя домчал! – затевает со скуки разговор Федор. – Не подвезло тебе, учитель, с лошадью. В такую-то пору все годные кони в обозе. Пока година стоит нужно успеть овощ с поля вывезти. Так что не обессудь за такую кобылку. Хворая она. Того и гляди издохнет. Как пить дать!

Из-под пледа вырывается тяжелый вздох. Седока здорово растрясло. Его внутренности выплясывают так, что кажется, вот-вот выпрыгнут наружу. Федор оборачивается и смотрит сочувственно на ужавшегося в подводу человека.

– Ты бы больше соломки под себя подмости, – проявляет заботу возчик, – а то бьешься о доски мослаками. Так без привычки всю душу вытреплет. Мяса на тебе вовсе нету. Отощальный, как весенний заяц. Что ж вы, городские, хлибкие-то такие? Ужели мы вас мало кормим? Считай, весь колхозный урожай город забирает. А нам что? Трудодни. На них новых чебот не купишь. Эти, гляди, уже никуда не годятся. – Федор вытягивает перед собой ноги, демонстрируя изношенные до дыр кирзовые сапоги. – Такая от наша мужицкая жисть. – Жалуется он, глядя на растянувшиеся у горизонта длинные скирды соломы. – Колхозное продовольствие дочиста сдай, так еще и с каждого двору или дай, или вырвут. Одних только яиц по пятнадцати десятков, да почти по три пуда убоины взято... и молоко, и шкуру – все подчистую отдай...

Седок всю дорогу молчит. Живым бы только доехать. Он то и дело аккуратно промокает лоб, щеки и подбородок белым платочком. Когда, бывает, расстраивается или переживает, всегда потеет. Приходится часто утираться. Для этой надобности в портфеле у него имеется большой запас свежих носовых платков.

– Какой-то ты несловоохотливый, учитель, – пробует растормошить попутчика Федор. – Запоматывал, как тебя по батюшке-то будет? Ненашенское вроде отчество.

– Авдонович... – неохотно отвечает попутчик.

– Это батьку-то как звали? Авдоном что ли?

– Авдоном.

– И вправду ненашенское.

Кузьма Авдонович обиженно вздыхает. Напоминание о пятой графе в его паспорте цепляет за живое. «Эх, деревенщина, – мысленно отбивается он, – знал бы ты, какая мне самому конфузность от этого, как ты обидно выразился, «ненашенского» отчества. Похлестче твоих дырявых сапог. Только вот до твоей прохудившейся обуви никому никакого дела нет, а до моего горбатого носа претензий о-го-го. Больше, чем репьев на хвосте твоей кобылы. Ясное

дело – жид! Неблагонадежный, так сказать, человек! Хотя, что лично я сделал плохого советской власти? Живу, как прошлогодняя трава, тихо и примято. Эх, Ларион Павлович, чернильная ты душа... – вспоминает он нахрапистого человека из обкома с блестящей, как глазированный пряник, лысиной, – как же вот так... без всякой причины усрать...».

– По причине хочешь? Нарисуем тебе причину! – кричит обкомовский партбосс, шлепая жирными как студень губами. – Так и напишем: «агитировал студентов против советской власти...».

Кабинет секретаря обкома просторный, с огромными окнами и тяжелыми бордовыми портьерами. На стенах, как и положено, в рамках мудрые лица кумиров. Темно-зеленая поверхность стола завалена исписанными бумагами. Он что-то ищет, копошась толстыми куцыми пальцами в растрепавшихся кипах постановлений, резолюций и указов.

– Ненужно, прошу вас..., – испуганно лепечет Кузьма Авдонович, прикладывая к взмокшему лбу белый платочек, – я же не агитировал...

– А, может, и агитировал! Кто тебя знает? – Ларион Павлович угрожающе приподнимается из-за стола, заслонив своим массивным телом, висевший за его спиной портрет вождя. – Неблагонадежный вы, жида, народишко. Или продадите, или предадите. Кем был твой папаша? Помнишь?

– Галантерейщиком...

– Вот видишь, нетрудовым элементом. А значит, ты лицо нетрудового происхождения. И тебе не место в заведении, где учатся дети трудового народа.

Кузьма Авдонович, боясь взглянуть в тяжелое лицо партбосса, рассеяно рассматривает барахтающуюся в чернильнице муху.

Ларион Павлович опирается об стол большими кулачищами, приминая бумаги. Наступает пауза. «Ж-ж-ж», – жужжит отчаянно муха, плавая на поверхности чернил.

– Отдельную республику устроить захотели? Так вам ее устроят где-нибудь в медвежьем углу! – Снова взрывается он. – Крым захотели? А вот вам Крым! – Он ударяет кулаком по столу с такой силой, что подпрыгивает чернильница.

Кузьма Авдонович судорожно сглатывает, послабляя тонкими пальцами узелок галстука. Он понимает, что возражать, не только бессмысленно, но и опасно. Потому молчит.

– Ладно, – Ларион Павлович успокаивается, – на первый раз партия тебя прощает. В селах учителей не хватает. Так что считай, что тебе повезло. Поедешь крестьянских детишек обучать, профессор. И чтобы там без всяких... Будешь в чем замечен – ответишь по всей строгости.

– А как же мое научное исследование? – робко интересуется Кузьма Авдонович, решив, что буря миновала. – Как оставить незаконченным?

– Что? – на воловьей шее Лариона Павловича взбухают вены. – Какое, в лысого, исследование? Волчий билет захотел?! Убирайся, пока я не передумал.

«Неблагонадежный человек! Вон оно как!», – обиженно лепечет Кузьма Авдонович, бредя по темному коридору. Шаги медленные, нетвердые, усталые. Под ногами жалобно стонут пересохшие половицы. В институтском коридоре пусто. Только этажом выше гремят ведрами уборщицы. «Трюх-трюх-трюх...» – отдает глухим эхом. Шаги замирают возле двери с табличкой: «профессор К.А. Катц». Вот и его кабинет. Теперь уже бывший. Дверь не заперта. Из-под нее выбивается узкая полоска желтого света.

– Это ты здесь, Барух? – спрашивает из-за двери профессор.

– Я, – слышится из глубины комнаты.

Кузьма Авдонович входит, плотно прикрывая за собой дверь. Бессильно опускается на стул, не выпуская из рук портфеля. Напротив него за письменным столом сидит его помощник, коренастый человек с круглой курчавой головой.

– Что? – смотрит ожидающе Барух, отложив в сторону толстую папку и сдвинув на нос очки.

Катц молчит.

– Уволили?

– Уволили.

– Вы шестой за эту неделю, профессор.

– А тебя еще не вызывали?

– Вызовут.

– Думаешь, не остановятся?

– Думаю, это только начало... ходят разговоры о массовой депортации в Сибирь или на Дальний Восток.

– Может, это только слухи?

– Может и слухи. А еще, говорят, на окружной железнодорожной станции скопление военных эшелонов.

– Да ну... – не верит Катц, – чтобы вот так целые составы загрузить живыми людьми? Одно дело по-тихому в кабинетах поодиночке давить, а другое – массово вывезти. Не так-то просто. Для этого закон нужен.

– Для депортации татар никакого закона не потребовалось...

– Так тогда же военное время было. Их-то за связь с врагом...

– А нас, как вы думаете, за что не любят?

– Не знаю, – сдвигает плечами Катц.

– Мне тут одна глупость в голову пришла, – улыбается Барух. – Может, это все от зависти?

– Какой зависти? – не понимает профессор.

– Среди евреев дураков меньше. Как-то спрашивают у старого Мойши, почему у него нос такой большой, а тот отвечает, что он у него весь наружу, чтобы для мозгов в голове больше места было.

– Да, действительно, глупость, – поднимается со стула Катц.

Он подходит к своему письменному столу. Выдвигает поочередно ящики. Извлекает из них тетради, листы исписанной бумаги, папки, и как попало запикивает их в портфель.

– Куда вы теперь? – с меланхолией в голосе спрашивает Барух?

– В колхоз, крестьянских детей обучать, – отвечает Катц.

– Полукровкам преференция? – шутит помощник. – Профессора Хафеца и еще четверых с волчьими билетами уволили. Считайте, вам крупно повезло. К тому же крестьяне менее предрасположены к юдофобии. А вот в рабочей среде это процветает. На днях на сахарном заводе рабочего-еврея забили до полусмерти. Слышали?

– Нет, не слышал, – Катц продолжает лихорадочно набивать портфель, опустошая ящики стола.

Барух флегматично наблюдает, как профессор возится с бумагами, пытаясь их втиснуть в уже довольно раздувшийся портфель.

– И зачем вам все это теперь?

– Как зачем? – Катц силится застегнуть набитый до отказа портфель. – В этих бумагах вся моя жизнь. Кстати, где синяя папка с результатами последних лабораторных исследований?

– Так забрали папку, Кузьма Авдонович. Как только вы ушли.

– Так я и знал, – он удрученно опускается на стул, – так я и знал, – нервно хрустит костяшками пальцев.

С минуту сидит, не двигаясь. Потом встает, берет под мышку ставший толстым портфель и направляется к двери.

– Прощай, Барух.

– Прощайте, профессор. Может, еще свидимся.

– Может.

Ближе к вечеру подвода въезжает в село, волоча за собой мягкий хвост серой пыли. Белеют первые хаты. Вначале редкие, дальше – тянутся двумя стройными рядами по обе стороны балки. Низкие, приземистые, с маленькими окнами, крытые, где соломой, а где и очеретом. Дворы огорожены плетнями или густыми кустарниками, а то и просто «колючкой», оставшейся после войны. Многие из них стоят без ворот, и лишь в некоторых въезд закрыт решеткой из жердей.

На выгоне, у гумна, после тяжелой работы шиплют высохшую траву усталые кони. В пыльных канавах край дороги гребутся грязные куры. Коровы, протяжно мыча, волокут с пастбища тяжелое вымя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.